



*Памяти моего отца*



# папа

**папа ходил и спал** в старенькой шинели. Мама ругала папу и просила хотя бы снимать сапоги перед постелью. Папа сбрасывал с грохотом сапоги и падал на простыни, не признавая одеяла, кутаясь в побитую молью мшистую шинельку. Мама сидела всю ночь на краешке рядом и тихо плакала в носовой платок.

Папа не пил водку, папа не курил, он даже телевизор не мог смотреть — вставал в пять утра и шел на балкон, строгать что-то страшно острым ножом. Этим ножом резались все, только папа не резался — папа облизывал лезвие языком, и ничего не случалось. Наверное, в папе не осталось ни капли крови, вся кончилась еще много лет назад, тогда, на войне.

У папы было темное лицо с неопрятной редкой бородой, а вот глаз его мы не помним — они всегда смотрели куда-то вниз, поэтому вместо глаз были какие-то постоянные черные лужицы сморщенной кожи.

Папа почти не разговаривал. Мама тоже научилась почти не разговаривать, но на телефонные звонки отвечала, с трудом заставляя себя вспоминать самые простые слова. По субботам папе приносили пенсию, но папа никак на это не реагировал — так и продолжал сидеть на табуретке, играя ножом. Иногда папа с силой швырял нож в стену, выбивая из нее громадные куски штукатурки. Мама ругала папу, но из другой комнаты, на всякий случай. А потом снова плакала, как ночью.

Нет, он никогда не был другим, до войны. Он всегда был такой, с самого начала. Посмотрите на свадебную фотографию — он в той же самой шинели, только чуть поновее, а глаза все так же смотрят вниз, под ноги, на сапоги. Мама еще улыбается, но как-то уже сомневаясь. На этой фотографии папа так же сидит на табуретке, а мама стоит слева, чуть позади, положив руку папе на плечо.

Она его любит, до сих пор любит, сейчас, может, даже сильнее, чем раньше, до войны. Его нельзя не любить, говорит она, он такой добрый. Наверное, самый добрый вообще. Мы не спорим с мамой, верим ей всегда, потому что так воспитаны.

Впрочем, если сильно постараться, то да, можно увидеть, можно почувствовать, разобраться — и как будто даже заметить, что папа вот-вот улыбнется нам. Но у папы отваливается челюсть, и в темный провал его беззубой пасти отправляется кусок хлеба с морозными крошками соли. Мы вздрагиваем, поскольку в этот самый момент видим внутри себя, что это и не хлеб вовсе, а плоть наша, скверное мясо его сыновей. Папа, не задумавшись, проглотит каждого из нас, если будет нужно.

Только, если начистоту, лучшего отца нам и не придумать. Он ни разу нас не ударил — даже когда мы дотла

сожгли наш прошлый дом. Тогда папа и вовсе не посмотрел в нашу сторону, как будто нас и не было никогда. Просто улегся в своей шинели на обугленную кровать, не забыв сбросить в угли сапоги, и уснул. Очень тихо, без храпа. А мы стояли рядом, с ног до головы в саже, мама плакала, а соседи — чуть поодаль — просто боялись подойти.

Папа убивает быстро и наверняка любого, кто будет мешать, — и ему за это ничего, потому что он воевал, у него медали, много, мама хранит их в чистой тряпичке под одной из половиц на кухне, а папе все равно — он не за медали воевал.

И вот он так спал посреди пепелища, а мы до самого утра стояли рядом и боялись, что он проснется, но еще больше мы боялись, что он не проснется. «Если он умрет, — думали мы, — то все равно не оставит нас. Будет так же бродить по квартире, сопровождаемый теперь уже зримым черным ветром, захлестывая нас своим небытием, и совсем перестанет спать».

Но пуще всего мы боялись, что папа станет смотреть нам в глаза и вспоминать наши лица. И как-нибудь утром сядет к нам на постель и скажет одному из нас: «А ну-ка, иди сюда, сынок».

# лѐня

**у тети лѐни** не хватало двух пальцев на левой руке. Странное полумужское имя — Леонида — как будто бы зло подшутило над ней: тетя Лѐня долго служила в армии, там ей и оторвало пальцы разорвавшейся прежде времени гранатой.

Тетя Лѐня любила выпить — сидела одна за столом на кухне и пересказывала сама себе последние новости. Потемневшую рюмку подхватывала со стола трехпалой рукой, начисто игнорируя целую, — тетя Лѐня не любила правую за здоровый вид и считала ее во всем виноватой. Тетя Лѐня была левшой.

Мы же в такие пьяные минуты сидели под дверью кухни, стараясь дышать как можно тише, и с нетерпением ждали, когда тетя Лѐня объявит главную новость дня. Главная новость каждый раз была разная, только смысл всегда один — опять все умерли, на этот раз, например, от тифа. Если все умерли, то нам пора — мы хватали друг

дружку за одежду и бежали из дома на улицу, подальше из нашего двора, за овощной магазин, за больницу, — прятаться на задворках морга, сюда она точно не дойдет, заблудится.

Тетя Лёня, когда напивалась, не против была кого-нибудь из нас почти убить. Она и так не особо налегала на ласку, измученная темным прошлым и недостающими пальцами, а добравшись до кондиции, лупила нас чем попало — даже табуретом, на котором перед этим сидела. Став постарше, мы стали и немного умнее — не ждали уже главной новости, а сразу шли на улицу, если Лёня долго не выходила из кухни.

Самые окрепшие из нас понимали все, едва заслышав первый воздушный еще стук стекла по столу — это бутылка становилась на стол, а рюмку тетя Лёня, перед тем как поставить рядом с бутылкой, пару минут вертела в трех пальцах, проглядывая на свет. Бояться было чего даже самым взрослым из нас — Лёня весила все сто двадцать и ростом своим задевала притолоку.

На улице мы, конечно, хвастались сломанными пальцами и ушами, только повторять никому не хотелось, для почету хватит и этих переломов и шрамов. Понятное дело, мы никому не признавались, кто это нас так, — сочиняли себе случайные бои со взрослыми мужиками, у которых мы якобы попросили закурить, а они отказались. Но потом силы у тети Лёни кончились.

В первый раз она просто упала на пол, с грохотом опрокинув табурет и расквасив себе нос и губы. Мы не стали ее бить, потому что нельзя бить единственного родителя, пусть и косвенного. У нас, кроме Лёни, никого не было тогда, и своего существования без нее мы просто не представляли. А еще она умела смеяться очень по-женски,

чего от нее не ожидал никто, только мы знали этот ее секрет. Смеялась она так редко, но именно за этот смех мы ее и любили, поскольку смеялась она нам — такая у нее случалась иногда ласка в нашу сторону.

Лёня стала падать все чаще, однажды сломала себе руку и после этого пила уже в постели, вцепившись в рюмку непременно левой, пусть даже и загипсованной рукой, громко ругая правую. Потом Лёня вообще перестала вставать.

Мы носили ей бутылку, подсовывали почти пустые щи, которые приноровились к тому времени готовить сами, а Лёня лежала молча и только шевелила последними пальцами левой руки — правая двигаться перестала и, похоже, ушла из жизни.

Перед самой смертью тети Лёни мы отважились и вымыли с мылом ее большое тело — соседи начали жаловаться на запах и угрожали участковым: похороните, мол, того, кто у вас умер, будьте людьми. Мы елозили сырой тряпкой по белому телу, а Лёня едва слышно рыдала от стыда, прикрывая глаза искалеченной рукой.

Когда она умерла, кровать под ней провалилась.

Денег на гроб у нас не было, мы закатали Леню в старый ковер и ночью выволокли в лес, где и прикопали. Участковому сказали, что тетка уехала в родной город и не вернулась, на что тот только кивнул и вышел, так и не прихватив ничего по пути — нечего было, никакого антиквариата, кроме раздавленной кровати.

Потемневшая теткина рюмка, которую мы прятали, через девять дней треснула пополам. Ну что ж, пришлось выбросить.

# каблуки

**нам было совсем** немного лет, когда отец впервые с работы пришел не к нам домой, а к соседке, тете Жене.

Мы как раз торчали у самого подъезда, вяло играя в ножички, когда он появился во дворе, пошел к нам, но прошел мимо нас, как будто это и не мы, а просто так — вообще дети. Он сосредоточенно вышагивал, опираясь на палку, — левая нога его, с лихо отставленной ступней — словно он собирается затанцевать, коротко, но емко чиркала пяткой по асфальту.

У всех левых отцовских башмаков был безнадежно испорчен каблук, нормальный человек такую обувь носить бы не смог, поэтому мама всегда их выбрасывала, как только левый каблук истирался до самого нельзя и отрывался, — правые башмаки оставались лежать под кроватью родителей в серых сырых коробках до самой смерти мамы, после мы вынесли их на помойку.

Мама не говорила, зачем и кому они нужны, а мы не спрашивали — у нас в семье не принято было спрашивать, как, в принципе, и говорить. Отец никогда не разговаривал с мамой, мама будто бы не замечала нас, а мы без всякого напряжения молчали между собой.

Отец прошел мимо нас, даже не посмотрев в нашу сторону, на что мы, может, и не обратили бы внимания, если бы он не был так нарочит в своем упорстве не видеть нас. Он, покраснев от натуги, старательно смотрел в себя и вышагивал поэтому, нелепо подпрыгивая, хлопая себя портфелем по бедру и даже как будто повизгивая от чрезмерных усилий и злости на себя.

Перед самым подъездом он остановился, поставил портфель, вынул из кармана плаща чудовищно грязный платок и принялся утирать им лицо — в этот момент ветер сдул с него шляпу. Отец вскинул руки с платком вверх, но успел только помахать ими над лысиной — так, будто сдавался навсегда чужой воле, выбрасывая над головой когда-то белое знамя. Шляпа шлепнулась в лужу.

Мы уже не играли, ножик торчал в земле, а мы стояли, руками в карманы курток, и самые старшие из нас понимали, что все, а младшие только чувствовали это «все», но понять еще не могли — и потому тихо плакали.

Отец затолкал платок в карман, подхватил портфель и пошел дальше, в провонявшую чужими ссаками темноту подъезда. Через несколько минут мы увидели бледное лицо тети Жени в правом от подъезда окне второго этажа, из-за спины у нее кто-то выглядывал, вытирая каким-то белым комком темную лысину.

Мы пошли домой, ножик остался торчать, а мама теперь каждый вечер садилась у стены и слушала, прижав ухо к обоям, отцову новую жизнь.

Когда отец умер, его в красивом гробу вынесли из подъезда и поставили на две табуретки. Лицо у отца сделалось худым и черным, в правой руке он, как нам показалось, все так же судорожно сжимал тот же самый платок, только теперь чистый и с красной вышивкой. Новую, вместо старой палки, трость тетя Женя сама подложила отцу в его последнюю постель, а потом вдруг ноги перестали ее держать, и тетя Женя плюхнулась задом на асфальт, неловко уцепившись голубыми пальцами за мертвый рукав уже не нашего отца.

Мы испугались чего-нибудь жуткого, что могло бы случиться дальше, — например, тети-Жениного из самого нутра воя, — поэтому просто убежали так далеко, как умели, к самому озеру, к бомжачьим холодным кострам.

Вечером мама снова села у стены — слушать. Мы боялись ее, когда она вот так слушала, боялись ее реакции, но мама всегда оставалась спокойной. Осталась такой она и в этот день — сидела не двигаясь, прижав ухо к обоям. За стеной на разрыв орал телевизор, и кто-то довольно смеялся папиным голосом. Мы, не включив свет, сидели на кухне и смотрели в окно — там наискось и быстро-быстро бежал мимо всех нас первый снег.

# серёжа

**десять лет назад** дядя Серёжа сошел с ума, и ему, по слухам, сделали лоботомию. Мы толком не понимали еще, что такое лоботомия, поэтому считали дядю Серёжу крайне опасным и старались не выпускать его из виду, когда он выходил во двор — посидеть на скамейке.

Конечно, никакой он нам был не дядя, но так его звали во дворе — дядя Серёжа, фамилия у него была Капустин, но ее никто не помнил. Серёже Капустину было уже за сорок, он жил на пенсию по инвалидности и ходил круглый год в одних и тех же плаще и берете, нечеловечески замызганных. От дяди Серёжи серьезно пованивало, и еще и поэтому мы боялись его — запах был острый, так воняли дохлые майские жуки в банке, которых мы однажды забыли на подоконнике на даче, а потом взяли и, на свою беду, понюхали.

Дядя Серёжа всегда улыбался, но не бессмысленно, а как-то даже с хитрецей, с характерным ленинским при-

щуром, за что мы его особенно не любили. А еще за слюну в уголках рта, за эти постоянные вязкие желтоватые комочки. Неужели, возмущались мы, нельзя утереться рукавом? Но в рукав дядя Серёжа предпочитал иногда сморкаться — прямо в локтевой сгиб.

По пятницам дядя Серёжа выводил из подъезда старенький велосипед и очень долго ходил с ним по двору, крепко держась за руль. Потом останавливался, выуживал из воображаемой сумки несуществующие воздушные письма и газеты и аккуратно распихивал их по таким же воздушным почтовым ящикам. Десять лет назад Серёжа Капустин работал почтальоном.

Мы резали колеса его несчастному велосипеду, гнули спицы, открутили и спрятали в подвале сиденье, но «воздушный почтальон» дядя Серёжа на такие мелочи не обращал никакого внимания. А может, просто не понимал.

Здоровался он буквально со всеми, кроме разве что собак и кошек — этих он любил и всегда гладил, — правда, на расстоянии, как будто не осмеливаясь беспокоить их настоящим прикосновением. Мы же собак боялись, а кошек расстреливали камнями.

Дядя Серёжа Капустин был, в общем, вполне безобидным дурачком, которого никто не боялся, кроме нас, детей. Нам же он портил жизнь своим постоянным присутствием во дворе и снился по ночам. Мы всерьез верили, что он только и ждет, чтобы при случае задушить одного из нас, за что ему, дурачку, ничего не будет — дурачок же, а нам придется до конца дней своих ходить в гости на кладбище друг к другу.

Мы боялись его больше, чем даже старух, которые считали наши зубы и пальцы с целью убить нас, детей, таким черным подсчетом, — боялись и ненавидели и потому

однажды договорились между собой прикончить дядю Серёжу, воткнуть ему в горло ножик или ударить по голове камнем.

Ножи у нас были никудышные перочинные коротышки, такими хотя бы порезаться и то трудно, поэтому первый способ мы забраковали. Осталось найти подходящий камень и придумать, как заманить дядю Серёжу за овощной магазин, где никогда никого не бывает, только гниют в исполинской траве старые ящики.

Камень мы искали долго, придирчиво перебирая возможные кандидатуры на берегу озера, — там было много всякого мусора, в том числе и разнообразного булыжника, но нужный нам по весу никак не попадался. Тогда мы решили сложить несколько штук вместе в дряхлую наволочку, затянув ее потуже, чтобы камни плотно прилегали друг к другу и не рассеивали силу удара.

Сложнее всего оказалось заманить Серёжу за овощной. Серёжа сидел на скамейке, улыбался нам и посекундно здоровался с нами, но идти упорно никуда не хотел, мотая отрицательно головой на наши обещания налить стакан водки или показать дырку в стене бани. Мы уже начали внутренне соглашаться с тем, что ничего не выйдет и придется и дальше терпеть дядю Серёжу в нашем дворе, но тут самый младший из нас нашел решение: он так неожиданно завопил дурным голосом, что даже мы перепугались и, ничего поначалу не понимая, чуть не ринулись бежать.

Позже мы разобрали слова, на которые дядя Серёжа отреагировал своеобразно, бросившись в подъезд за велосипедом: «Дядя Серёжа, почта горит!»

Дядя Серёжа бежал сноровисто, не роняя велосипед и ориентируясь на истошный сквозной крик про горящую

почту. «Почта горела», конечно, за овощным магазином, там под ящиками была спрятана нафаршированная камнями наволочка, а мы вдруг поняли, что не готовы убить — пусть даже дурачка Серёжу, — но деваться было некуда. Поэтому мы достали из-под ящиков наволочку, отдали ее самому старшему, и тот ударил дядю Серёжу в выпуклый затылок.

Серёжа как раз пытался увидеть на задней стене магазина «горящую почту», когда с неуместно мелодичным хрустом лопнул, как нам показалось, его бессмысленный череп. Велосипед упал рядом, жалобно звякнув.

Мы не стали смотреть на конвульсии, не желали видеть никакой крови, мы спешно сбежали домой и три дня в невыносимом ужасе сидели дома, каждую секунду ожидая прихода милиционеров с собаками. Никто не пришел.

Через неделю дядя Серёжа снова вытащил во двор свой перекорезанный велосипед. Постоял с ним немного у подъезда и отвел назад. И с тех пор уже не работал «воздушным почтальоном» — наверное, потому, что почта его сгорела. С этой почтой сгорел и наш страх. Когда дядя Серёжа через много лет умер, мы взялись за его похороны — и вот тогда и узнали, что он Капустин.

Квартира его была на удивление пустой, светлой и чистой. На подоконнике в кухне мы нашли большую общую тетрадь с единственной записью на первой странице: «Сегодня хорошая погода». Дядя Серёжа не обманул — погода и правда была слишком хорошей для марта, поэтому, разойдясь с крыльца крематория в разные стороны, мы со спокойным сердцем забыли покойника навсегда.

# елены

**дядя павел человек** был сильнопьющий, из-за этого конкретно с придурью — и троих своих дочерей назвал одинаково — Еленой. Старшую принято было так и оставить Еленой, средняя стала Леной, а младшая, соответственно, — Леночкой.

Отец их, выпив, любил подраться и дрался в основном с женой и дочерьми — хватал обычно алюминиевую трубку от пылесоса и со всеми последними силами бил по чему попало. Сил у дяди Павла было пока еще много, потому трубка вся погнулась и сплющилась, а жена его, тетя Мария, и три Елены стали часто ночевать у нас — дядя Павел все чаще угрожал топором, которым рубил мясо. Топор хоть и тупой, но все же не полая трубка из алюминия.

Тетя Мария спала в одной комнате с нашей матерью, а Елены — на нашей кровати, за что мы их крепко не любили, поскольку нам тогда доставался совсемдохлый ма-